

ЖИВОПИСЬ. ГРАЮЮЩАЯ.

ВЫСТАВКА → 27.10
— 27.11

К ВЫСТАВКЕ ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА ПАРШИКОВА

Когда наблюдаешь за движением руки, словно бы топчущейся на месте, но неуклонно гнущей свою, полагаю, ей и самой неведомую «линию», когда с удивлением видишь вдруг высунувшийся над нижней губой рисующего кончик языка, сомнений не остается: этот процесс в высшей степени физиологичен. Художник расправляется с образом примерно так же, как моллюск с попавшей в створки раковины песчинкой. Он обволакивает чужеродный объект своей «плотью», превращая в жемчужину.

В некотором смысле все картины, все рисунки Владимира Паршикова и являются такими «жемчужинами», с той лишь оговоркой, что здесь творящим началом выступает человеческий дух, впрочем, заразившийся от телесности ее чувственностью. В живописи и не может быть иначе. Изобразительное искусство — самое непосредственное из всех искусств. Даже окрашивая изображаемое в минорные, трагические тона, оно переживает бытие как чистую зрительную радость. И, пока этого радостного превращения мира на холсте или на листе бумаги не случится, картина не состоится, форма не станет убедительной.

Кто-то говорил, что настоящий поэт — это человек в принципе не способный выражать свои мысли нормально с помощью всем доступного, повседневного языка. Поэтому и пишет строчками, да еще в рифму. Этакое высокое косноязычие. Быть может, настоящий художник — тот, кто не способен находить фотографически точных эквивалентов жизненным явлениям. Где располагается этот фильтр, трансформирующий обыденность в драгоценное полыхание красок — в мозгу, в глазном яблоке?

Я смотрю на чудесные «марсианские» пастели, на которых из голубого, фиолетового, зеленовато-желтого марева проступают безликие фигуры. Это мы — там? Или они откуда — здесь? Розовые, серебристые тени... Впрочем, какие угодно — цвета не важны, они подбираются в соответствии с охватывающей фигуры, словно бы колышущемся фоном. Художник говорит: начинаешь рисовать одними мелкими, и пока их не израсходуешь, не переходишь к другим.

Каждый раз Паршиковым руководит какая-то художественная идея, воплощающаяся почти автономно от усилий рисующего, как бы развертывающаяся на листе. Тут самое главное выявить и не «замусолить». Помнится, Микельанджело утверждал, что совершенная скульптура уже содержится в глыбе мрамора — надо лишь помочь ей выбраться из камня, убрав лишнее. Так и стихотворение можно считать уже состоявшимся, если удалась три-четыре первые строки. Дальше допишется — лишь будь чутким и терпеливым.

Паршиков — терпелив. Он долго высматривает-извлекает нужные, как бы где-то в идеальном мире уже имеющиеся образы: фигур, деревьев, самого связующего их пространства. И найденное им поражает прежде всего своей структурностью, равновесностью, заставляющей почему-то думать о серьезности и достоинстве происходящего. Любопытно, что, при всей гармоничности и как бы даже статичности, картины, рисунки Паршикова в высшей степени эмоциональны. Только угадываемые в них «страсти» разыгрываются на большой глубине, не искажая поверхности «мелкой рябью».

Дело, опять же, вероятно, во внутреннем фильтре, позволяющем любое высказывание сделать косвенной речью. Поэтому художнику запросто сходят с рук всегда грешащие иллюстративностью «литературные сюжеты», будь то Эдип, разгадывающий загадку Сфинкса, Нарцисс и Эхо или Орфей.

Меня особенно захватила последняя картина. На границе света и темноты, словно разделяя собой два пространства, высится нагая человеческая фигура. В руках Орфея нет лиры, звонкий инструмент уже не нужен, он не поможет здесь — в точке встречи с небытием, прощания с жизнью. И поэтому человек лишь обхватывает руками, обнимает свое утлое тело; голова повернута в сторону — туда, где сгущается мрак. Кого он хочет высмотреть там? Эвридику, или свою душу? И, правда, желающий оставаться здесь, в этом охристо-золотистом солнечном полыхании, не должен оглядываться, не должен вслушиваться в шепоты и гулы беспросветного будущего. Сколько безнадежности и вины! И такая серьезная нежность, и такая целомудренная, самой себя стыдящаяся патетика!

Ни один из подготовительных рисунков не дает этого ощущения. Каждый из живописных вариантов «Орфея» говорит о чем-то своем. Подозреваю, что даже при желании художник не смог бы повторить раз найденное. Его картины, как окна — в другой, пребывающий в вечном становлении и перетекании мир прочувствованных смыслов или осмысленных чувств. И при следующем «заглядывании» туда нам открывается нечто иное. А, может быть, то же самое, но приходящее каждый раз в здесь-и-сейчас явленной форме, этаким всплыванием, схваченным и остановленным мгновением видения. Мы ведь не можем обладать ни своей любовью, ни верой, ни пониманием.

Истина пульсирует где-то там, за белой поверхностью холста, листа, лишь сполохами прорываясь наружу. И тогда в зеленоватом, сиренево-золотистом, охристо-канареечном тумане вспыхивают ведения наших теней-двойников.

* * *

*Так волнуют рисунки эти —
И не объяснить, почему...
Разве дело в зеленом цвете,
В желтом, вторящем вдруг ему,*

*Словно нежная длится нота,
В том, как тени легли дерев?
Или в том, что мы любим что-то
Даже, может быть, умерев?*

*Вот об этом: что нечто длится
За границей бытия.
Краске, слову дано пробиться
В область, где невозможен я*

*С диабетом своим, с тревогой,
Что не справлюсь уже, что стар.
Только взглядом ее потрогай,
Унеси, как пчела нектар!*

АЛЕКСЕЙ МАЛШЕВСКИЙ